

# 1. Введение

В истории марксизма и марксистских движений настает время фундаментальных трансформаций, возможно, пока еще не вполне заметных. И самые очевидные их приметы — недавние войны между Вьетнамом, Камбоджей и Китаем. Эти войны имеют всемирно-историческое значение, поскольку это первые войны между режимами, чья независимость и революционная репутация не вызывают никаких сомнений, и поскольку каждая из противоборствующих сторон ограничилась лишь самыми поверхностными попытками оправдать кровопролитие, опираясь на легко узнаваемую марксистскую теоретическую перспективу. Если китайско-советские пограничные столкновения 1969 года и советские военные вторжения в Германию (1953), Венгрию (1956), Чехословакию (1968) и Афганистан (1980) еще можно было интерпретировать — в зависимости от вкуса — в категориях «социал-империализма», «защиты социализма» и т. д., то никто, как мне кажется, всерьез не верит, что такая лексика имеет хоть какое-то отношение к тому, что произошло в Индокитае.

Если вьетнамское вторжение в Камбоджу и ее оккупация в декабре 1978 — январе 1979 гг. ознаменовали первую широкомасштабную войну, в признанном смысле слова, развязанную одним революционным марксистским режимом против другого[18], то китайское нападение на Вьетнам, произошедшее в феврале, быстро закрепило этот прецедент. Только самый легковверный отважился бы биться об заклад, что на исходе нашего века СССР и КНР — оставим в стороне меньшие по размеру социалистические государства — при любом значительном всплеске межгосударственной враждебности с необходимостью окажут поддержку одной и той же стороне или будут сражаться на одной стороне. Кто может быть уверен, что однажды не вступят в драку Югославия и Албания? Те разношерстные группы, что так упорно добиваются изгнания Красной Армии из ее лагерей в Восточной Европе, должны вспомнить о той огромной роли, которую играло ее повсеместное присутствие после 1945 г. в недопущении вооруженных конфликтов между марксистскими режимами региона.

Эти соображения призваны подчеркнуть, что после второй мировой войны каждая успешная революция самоопределялась в национальных категориях — Китайская Народная Республика, Социалистическая Республика Вьетнам и т. д., — и, делая это, она прочно укоренялась в территориальном и социальном пространстве, унаследованном от дореволюционного прошлого. И наоборот, то обстоятельство, что Советский Союз разделяет с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии редкостное качество отказа от национальности в своем именовании, предполагает, что он является в такой же степени наследником донациональных династических государств XIX в., в какой и предшественником интернационалистского порядка XXI в.[19]

Эрик Хобсбаум совершенно прав, утверждая, что «марксистские движения и государства тяготели к превращению в национальные не только по форме, но и по содержанию, т. е. в

националистические. И нет никаких оснований полагать, что эта тенденция не будет сохраняться и впредь»[20]. К тому же, тенденция эта не ограничивается одним только социалистическим миром. ООН почти ежегодно принимает в свой состав новых членов. А многие «старые нации», считавшиеся некогда полностью консолидированными, оказываются перед лицом вызова, бросаемого «дочерними» национализмами в их границах — национализмами, которые, естественно, только и мечтают о том, чтобы в один прекрасный день избавиться от этого «дочернего» статуса. Реальность вполне ясна: «конец эпохи национализма», который так долго пророчили, еще очень и очень далеко. Быть нацией — это по сути самая универсальная легитимная ценность в политической жизни нашего времени.

Но если сами факты понятны, то их объяснение остается предметом давней дискуссии. Нацию, национальность, национализм оказалось очень трудно определить, не говоря уже о том, что трудно анализировать. На фоне колоссального влияния, оказанного национализмом на современный мир, убогость благовидной теории национализма прямо-таки бросается в глаза. Хью Сетон-Уотсон, автор самого лучшего и всеобъемлющего текста о национализме в англоязычной литературе и наследник богатой традиции либеральной историографии и социальной науки, с горечью замечает: «Итак, я вынужден заключить, что никакого „научного определения“ нации разработать нельзя; и вместе с тем феномен этот существовал и существует до сих пор»[21]. Том Нейрн, автор новаторской работы «Распад Британии» и продолжатель не менее богатой традиции марксистской историографии, чистосердечно признается: «Теория национализма представляет собой великую историческую неудачу марксизма»[22]. Но даже это признание вводит в некоторой степени в заблуждение, поскольку может быть истолковано как достойный сожаления итог долгого, осознанного поиска теоретической ясности. Правильнее было бы сказать, что национализм оказался для марксистской теории неудобной аномалией, и по этой причине она его скорее избегала, нежели пыталась как-то с ним справиться. Чем в противном случае объяснить, что Маркс не растолковал ключевое прилагательное в своей памятной формулировке 1848 г.: «Пролетариат каждой страны, конечно, должен сперва покончить со своей собственной буржуазией»?[23] И чем иначе объяснить, что на протяжении целого столетия понятие «национальная буржуазия» использовалось без сколь-нибудь серьезных попыток теоретически обосновать уместность содержащегося в нем прилагательного? Почему теоретически значима именно эта сегментация буржуазии, которая есть класс всемирный, поскольку определяется через производственные отношения?

Цель этой книги — высказать ряд предварительных предложений по поводу более удовлетворительной интерпретации «аномалии» национализма. У меня сложилось ощущение, что при обсуждении данной темы как марксистская, так и либеральная теория увязли в запоздалых птолемеевых попытках «спасти явления», а потому настоятельно необходимо переориентировать перспективу в коперниканском, так сказать, духе. Отправной точкой для меня стало то, что национальность — или, как было бы предпочтительнее сформулировать это понятие в свете многозначности данного слова, национальность (nation-ness), — а вместе с ней и национализм являются особого рода культурными артефактами. И чтобы надлежащим образом их понять, мы должны внимательно рассмотреть, как они обрели свое историческое бытие, какими путями изменялись во времени их смыслы и почему сегодня они обладают такой глубокой

эмоциональной легитимностью. Я постараюсь доказать, что сотворение этих артефактов к концу XVIII в.[24] было спонтанной дистилляцией сложного «скрещения» дискретных исторических сил, но стоило лишь им появиться, как они сразу же стали «модульными», пригодными к переносу (в разной степени сознательному) на огромное множество социальных территорий и обрели способность вплавлять в себя либо самим вплавляться в столь же широкое множество самых разных политических и идеологических констелляций. Я также попытаюсь показать, почему эти особые культурные артефакты породили в людях такие глубокие привязанности.

## Понятия и определения

Прежде чем обратиться к поставленным выше вопросам, видимо, будет целесообразно вкратце рассмотреть понятие «нация» и предложить его рабочее определение. Теоретиков национализма часто ставили в тупик, если не сказать раздражали, следующие три парадокса: (1) Объективная современность наций в глазах историка, с одной стороны, — и субъективная их древность в глазах националиста, с другой. (2) С одной стороны, формальная универсальность национальности как социокультурного понятия (в современном мире каждый человек может, должен и будет «иметь» национальность так же, как он «имеет» пол), — и, с другой стороны, непоправимая партикулярность ее конкретных проявлений (например, «греческая» национальность, по определению, есть национальность *sui generis*). (3) С одной стороны, «политическое» могущество национализмов — и, с другой, их философская нищета и даже внутренняя несогласованность. Иными словами, в отличие от большинства других «измов», национализм так и не породил собственных великих мыслителей: гоббсов, токвилей, марксов или веберов. У говорящих на многих языках интеллектуалов-космополитов эта «пустота» легко вызывает некоторую снисходительность. Подобно Гертруде Стайн, впервые воочию столкнувшейся с Оклендом, человек может довольно быстро заключить, что «там нет никакого „там“». Показательно, что даже такой благожелательный исследователь национализма, как Том Нейрн, способен написать такие слова: «„Национализм“ — патология современного развития, столь же неизбежная, как „невроз“ у индивида, обладающая почти такой же сущностной двусмысленностью, что и он, с аналогичной встроенной вовнутрь нее способностью перерасти в помешательство, укорененная в дилеммах беспомощности, опутавших собою почти весь мир (общественный эквивалент инфантилизма), и по большей части неизлечимая»[25].

В какой-то мере проблема кроется в бессознательной склонности сначала гипостазировать существование Национализма-с-большой-буквы (примерно так же, как это можно было бы сделать в отношении Возраста-с-заглавной-буквы), а затем классифицировать «его» как некую идеологию. (Обратите внимание: если каждый человек имеет тот или иной возраст, то Возраст — всего лишь аналитическое выражение.) На мой взгляд, все станет намного проще, если трактовать его так, как если бы он стоял в одном ряду с «родством» и «религией», а не «либерализмом» или «фашизмом».

Таким образом, поступая так, как обычно поступают в антропологии, я предлагаю следующее определение нации: это воображенное политическое сообщество, и воображается оно как что-то неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное.

Оно воображенное, поскольку члены даже самой маленькой нации никогда не будут знать большинства своих собратьев-по-нации, встречаться с ними или даже слышать о них, в то время как в умах каждого из них живет образ их общности[26]. Ренан в своей особой вкрадчиво двусмысленной манере ссылаясь на это воображение, когда писал, что «*Or l'essence d'un nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, et aussi que tous aient oublié bien des choses*» [«А сущность нации в том и состоит, что все индивиды, ее составляющие, имеют между собой много общего и в то же время они забыли многое, что их разъединяет»][27]. Геллнер несколько устрашающе высказывает сопоставимую точку зрения, утверждая: «Национализм не есть пробуждение наций к самосознанию: он изобретает нации там, где их не существует»[28]. Однако в этой формулировке есть один изъян. Геллнер настолько озабочен тем, чтобы показать, что национализм прикрывается маской фальшивых претензий, что приравнивает «изобретение» к «фабрикации» и «фальшивости», а не к «воображению» и «творению». Тем самым он предполагает, что существуют «подлинные» сообщества, которые было бы полезно сопоставить с нациями. На самом деле, все сообщества крупнее первобытных деревень, объединенных контактом лицом-к-лицу (а, может быть, даже и они), — воображаемые. Сообщества следует различать не по их ложности/подлинности, а по тому стилю, в котором они воображаются. Жители яванских деревень всегда знали, что связаны с людьми, которых они никогда не видели, однако эти узы были некогда особенным образом воображены — как бесконечно растяжимые сети родства и клиентуры. До совсем недавнего времени в яванском языке не было слова, обозначающего абстракцию «общество». Сегодня мы можем представить французскую аристократию *ancien régime*[29] как класс; но, разумеется, воображена она была в качестве такового лишь в очень позднее время[30]. На вопрос: «Кто такой граф де Х?» — нормальным был бы не ответ «член аристократии», а ответ «хозяин поместья Х», «дядя барона де Y» или «вассал герцога де Z».

Нация воображается ограниченной, потому что даже самая крупная из них, насчитывающая, скажем, миллиард живущих людей, имеет конечные, хотя и подвижные границы, за пределами которых находятся другие нации. Ни одна нация не воображает себя соразмерной со всем человечеством. Даже наиболее мессиански настроенные националисты не грезят о том дне, когда все члены рода человеческого вольются в их нацию, как это было возможно в некоторые эпохи, когда, скажем, христиане могли мечтать о всецело христианской планете.

Она воображается суверенной, ибо данное понятие родилось в эпоху, когда Просвещение и Революция разрушали легитимность установленного Богом иерархического династического государства. Достигая зрелости на том этапе человеческой истории, когда даже самые ярые приверженцы какой-либо универсальной религии неизбежно сталкивались с живым плюрализмом таких религий и алломорфизмом между онтологическими притязаниями каждого из вероисповеданий и территорией его распространения, нации мечтают быть свободными и, если под властью Бога, то сразу же. Залог и символ этой свободы — суверенное государство.

И наконец, она воображается как сообщество, поскольку независимо от фактического неравенства и эксплуатации, которые в каждой нации могут существовать, нация всегда понимается как глубокое, горизонтальное товарищество. В конечном счете, именно это

братство на протяжении двух последних столетий дает многим миллионам людей возможность не столько убивать, сколько добровольно умирать за такие ограниченные продукты воображения.

Эти смерти внезапно вплотную сталкивают нас с главной проблемой, которую ставит национализм, а именно: что заставляет эти сморщенные воображения недавней истории (охватывающей едва ли более двух столетий) порождать такие колоссальные жертвы? По моему мнению, для ответа на этот вопрос нужно прежде всего обратиться к культурным корням национализма.

---

Версия #1

Зверобой создал 12 апреля 2025 23:07:58

Зверобой обновил 12 апреля 2025 23:08:58